



А. Е. РЕДЬКО

О чертовой кукле — мертвой красоте

(З. Гиппиус. Чертова кукла. Жизнеописание в 33-х главах)

I

О «Чертовой кукле» г-жи Гиппиус мы уже говорили по поводу первой трети романа, когда он появился в январской книге «Русской Мысли». Но тогда мы могли говорить, очевидно, только о том, что в повести было дано в *фактах* беллетристического изображения, имеющих определенное значение именно в качестве «фактов» действительного или придуманного бытия.

Теперь повесть закончена и не только закончена, но даже разъяснена отчасти — в отношении замысла и цели творчества — самим автором, в предисловии к отдельному изданию. Мы имеем поэтому возможность оценить повесть не только в том, что дано автором в образе Юрули, но и то, что он, автор, *хотел* дать и *хотел* сказать. Это будет тем любопытнее, что до сих пор нам не случалось говорить о мистическом строительстве жизни, существующем пока не как факт, а лишь как предчувствие грядущего и даже весьма близкого (для некоторых).

Непримиренностью двух начал — личного и общественного — болеет весь современный мир, жаждущий примирить *тенденции* социалистической общественности и анархической индивидуальности в единое гармоничное целое в душевных переживаниях. Жизнь до сих пор основана на смеси этих двух, по-видимому, враждебных начал, личного и хорового, а нужно, чтобы она была основана на соединении их. Химия знает такие способы — превратить простую смесь различных элементов в новое сложное соединение, неразделимое на прежние составные части. Но в социальной сфере такой химии чувствований до сих пор не было. Человек по сию пору живет лишь мечтой о желанном превращении своего личного и коллективного в единое гармоничное

целое — в человеческих душах. Для З. Гиппиус таким претворителем индивидуального и общественного является мистика.

Вопрос о лечении русской жизни мистикой два года тому назад усиленно занимал собою широкие литературные круги. Происходили собрания, расценивались доводы pro и contra, дебаты переходили порою в горячие сражения, но затем все как будто схлынуло, не оставив после себя прочного следа и уверенности, что инъекция мистического восторга современникам не только возможна, но и будет весьма целебной для захиревшей общественной жизни. Осталось скорее отрицательное впечатление чего-то несуразного и ненужного.

Но вот появляется на ту же тему вещь беллетристическая — в образах, и тема, отошедшая было в литературное небытие, вновь воскресает и заставляет пересматривать вопрос. Вот воистину торжество беллетристической формы суждения и рассмотрения.

В чем же дело?

С героем «Чертовой куклы» читатель уже знаком, если припомнить нашу заметку «Предвидения и наблюдения в беллетристике» («Русское Богатство», [1911], январь).

В этой заметке мы говорили вообще о гармонических душах, неожиданно обогативших собою сотканное из душевных противоречий современное человечество. И мы говорили, что для одних эти гармонические люди только греза и предчувствие будущего, а для других — настоящее, предмет не вымысла, а наблюдения. Автор «Чертовой куклы» принадлежит, как мы отметили, к этой последней категории: его герой — факт настоящего, и тем не менее его герой блаженно гармоничен и поразительно красив.

Особенность этого героя, резко бросающаяся в глаза, это — универсальная привлекательность для всех, не исключая и автора. Так было в январской книжке «Русской Мысли»; так осталось и до конца повести: ничто не могло ни уничтожить, ни даже сократить обаяние гармоничной личности студента Юрули.

Эта сверхчеловеческая симпатичность героя г-жи Гиппиус привела почти всех критиков в истинное оцепенение: до такой степени она кажется несообразной. Но, как мы отметили в первой заметке, универсальная симпатичность героя отнюдь не недоразумение. Она, несомненно, входит в замысел г-жи Гиппиус.

Так как мы имели только начало повести, то мы останавливались на том, что было дано сполна и законченно, т. е. на общем облике ее героя, который, несмотря на свою веру: не надо иметь «никаких вер», был нужен и полезен всем окружающим, был радостен и ободряющ для всех окружающих.

Тем не менее уже в следующей, февральской книжке «Русской Мысли» выяснилось, что наименование «чертовой куклой» относится не к кому иному, как к Юруле. При выходе же его «жизнеописания в 33 главах» отдельным изданием г-жа Гиппиус нашла необходимым предпослать повести несколько руководящих объяснений. И по этим объяснениям у автора не было никакой иной задачи, кроме как «обнажить вечные, глубокие корни реакции в общественной жизни».

«...хотелось мне, — говорит автор, — собрать, сосредоточить черты душевной мертвости, *вечно* тянущей вниз, — в одном человеке, сделав его сознательным, т. е. утверждающим и оправдывающим (насколько это возможно) свое мирозерцание... Отдельные черты этой *вечной*, страшной косности *есть почти во всяком из нас*, теперешних; таятся порою глубоко, под сознанием; но и оттуда, из глубин, поднимается отравленный воздух».

А далее в том же предисловии говорится:

«Сводка отдельных душевных черт к единой личности — быть может, искусственна; герой небытия (?), возможно, не удался мне; но это уже вопрос иной, и не мне его касаться. Хочу прибавить только, что, по моему глубокому убеждению, сила косности, себя утверждающая и крепкая, — достойна внимания, исследования и серьезной борьбы с нею — в меру умения каждого. Сила эта тем страшнее, что она *вездесуща* и неприметна, обволакивающая и *соблазнительна*».

Мы привели возможно полнее собственные комментарии г-жи Гиппиус к жизнеописанию ее героя. По-видимому, содержание предисловия решительно по тону и содержанию. Автор допускает, что ему не удалось беллетристическое исполнение своего замысла, но задумано было изобразить в романе именно то, что говорится в предисловии. Весь роман — книга о реакции; главное действующее лицо — герой небытия (?); он принадлежит к числу тех, что влекут жизнь вниз; с ним необходимо бороться. Естественно, создается логический мостик в гипотезе, что автор относится к герою с той же *брезгливостью*, что и читатель. Но это недоразумение: брезгливости у автора нет. Вы перелистываете роман и проверяете впечатление на тех местах, где автор говорит о герое от своего собственного имени, оставляя роль изобразителя, и чувствуете, что Юруля для автора синоним мертвой красоты, но все же красоты. А это, конечно, совсем не то отношение, которое сложилось у читателя при чтении романа и которое как будто готов был разделить сам автор, судя по предисловию.

Однако и в предисловии есть ряд отеночных замечаний, которые заставляют пристальнее всматриваться в решительный, по-видимому, приговор. Во-первых, оказывается, что Юруля воплощает того «вечного», что живет почти во всех «нас, теперешних»; во-вторых, его душевное состояние принадлежит к категории *соблазнительного*. Конечно, красота может быть соблазнительною даже и в том случае, если она мертва, и с красотой «мертвой» можно бороться во имя красоты «живой».

С этой точки зрения вы перебираете в памяти отношение к герою *всех* действующих лиц. Все относится с восторгом и влюбленностью; революционеры Михаил и Наташа — вдумчиво. Осуждают только мистически настроенные люди и *только* за отсутствие всякого признака мистики в душе Юрули!

Вот в чем мертвенность Юрули и вот почему с ним нужно бороться! Все зависит от смысла слов: чертова кукла, мертвость — косность, и от содержания термина борьба с «реакцией». Для «борьбы» требуется торжество мистических настроений в современном русском обществе.

Юруля — чертова кукла, потому что он «кукла» — игрушка в руках «черта». Он находится в погоне за радостью и не замечает, что под его радостью нет никакого прочного основания: она вся целиком на зыбких «случайностях»: сегодня жив, завтра мертв, и нет у него прочного — будущей жизни, которая одна делает человека уверенным и способным «не отдаваться тупо во власть земли». Только раз он, Юруля, почувствовал вокруг своего бытия что-то неладное, когда ему днем, на улице, в изображении г-жи Гиппиус, «почудилось, что сквозь фиолетовую небесную воздушность проступают злые черные улыбки, темные пятна, словно томился воздух под напиранием на него со вне бессветным и безграничным пространством». Бессознательно Юруля понял необычайное в факте, что пространство напирает на воздух, и ему (Юруле) стало «страшно, страшно и холодно», по описанию г-жи Гиппиус. Он даже понял причину напирания пространства и ощутил, что это «издевательски улыбалась над миром медленная внешняя чернота — внешняя смерть»; однако в следующую минуту он же решил, что просто устал и ему надо только выспаться, а не придавать значения своему странному кошмару наяву.

Однако кошмар оказался пророческим, как всегда у беллетристов, и над головой Юрули на самом деле уже реяли «черные улыбки» смерти. Он был нежданно-негаданно убит сумасшедшим.

Это дает автору возможность резюмировать и жизнь Юрули, и свое отношение к нему. Речь идет о мертвом лице Юрули.

«Мертвое, — оно точно и не было никогда живым. *Мертвая красота*».

Что же в свою очередь значит это темное пояснение? «Черты душевной мертвости» — в предисловии; «мертвая красота» — в романе... Разъяснение в лирике З. Гиппиус, которая была некогда тоже «мертва»:

Я ждал полета и бытия.
Но мертвый ястреб — душа моя.
Как мертвый ястреб лежит в пыли,
Отдавшись тупо во власть земли.
.....
К земле я никну, сливаюсь с ней.
И оба мертвы, — она и я.

Таким образом, «мертвость» есть отсутствие «полета» в мистическую высь, и разница между Юрулей и его автором только в том, что Юруля всю жизнь был мертв, а она только в прошлом, когда «отдавалась тупо во власть земли».

II

Роман — книга о настоящем и о будущем, поскольку это будущее заключается «предчувственно» в настоящем.

Настоящее дано в образах Юрули, твоебратства и жертв традиций «общественности»: Михаила, Наташи. Юруля в точности живет по старому — 1894 года — завету г-жи Гиппиус:

Но я люблю себя, как Бога, —

и потому или не потому, но блещет жизнью, энергией и светорассеивает вокруг себя счастье... Он ярко воплотил в себе факт, что он «особь», имеющая право на «неслиянность». Для себя он сполна разрешил проблему поведения, основанного на абсолютной свободе личности. Он не знает никаких душевных пут, не считается ни с какой душевной зависимостью от других; мнения и желания других, не совпадающие с его собственными, для него то же, что ветер и пыль на улице: досадно, что они существуют, но не больше. Он сполна определяется своими собственными мыслями и побуждениями. С этой точки зрения он тоже удовлетворил бы завету г-жи Гиппиус (1904 года):

Я не могу покоряться людям.
Можно ли рабства хотеть?
.....

Я не могу покоряться Богу.
Если я Бога люблю.

.....

Мы не рабы, — но мы Божьи дети,
Дети свободы, как Он.

Но тут наступает резкая несходимость. Автору приведенных строф нужно мистически примирить абсолютную свободу индивидуума с благонаправленностью мировой жизни, зависящей от «последнего Я», и потому он взывает:

Отче, *вовек да будут едино*
Воля Твоя и моя!

Только и всего: можно любить себя, как Бога; можно не покоряться ни людям, ни Богу, но нужно при этом молиться: да будут едины воля Твоя и моя! Но герой «Чертовой куклы» лишен создающих мировую гармонию мистических восторгов и прозрений индивидуализма. Он не молится об единстве воли; не задумывается и над последствиями, несмотря на знамение, данное ему в виде пространства, напавшего на воздух, — в XXIV главе.

Но отсюда логически вытекает, что нужен акт нового библейского сотворения человека, который вдохнул бы бессмертную душу в эту цепную, уже существующую, мертвенную, но подлинную красоту.

Однако это нужно только для мистика-автора; толпа же, в его изображении, ничего не требует от Юрули: она отраженно воспринимает радость от того, что он вечно радостен, не интересуясь тем, какая в нем красота духа: мистически живая или мистически мертвая.

Юруле недостает мистики. Вы готовы сказать, что у героя романа многого в душе не достает, кроме мистического понимания мира. Но это так только до тех пор, пока вы не узнаете, от Антона Крайнего, что нравственность — ненужное людям слово (Литературный дневник. «Хлеб жизни»). «Кто, понимающий слово “Отец”, не поймет, — говорит Антон Крайний, он же автор “Чертовой куклы”, — что слово “нравственность” — слово пустое, совершенно ненужное людям? Они прикрывают им свое проклятие, свою отброшенность от Отца. При Нем это слово лишнее, оно меркнет, как свеча в ясное утро». Как видите, указание совершенно решительное. Нравственность не есть нечто от века человеческое, и всевозможные этики и учения об эволюции нравственности только выдумка позитивистов, отказавшихся от другого истинного источника света — мистического.

Нравственность — ненужное слово и результат отброшенности подвергшихся проклятию. И вот г-жа Гиппиус решительно не считается ни с какими ненужными словами, делая своего привлекательного юношу всем, чем угодно, вплоть до состоящего при содержанке. Это — дерзость замысла, убивающая художественную правду повести, но не лишенная логичности. *Sic volo, sic jubeo* *.

Члены «троебратства», мистически настроенные, были бы, вероятно, готовы молиться по всякому завету З. Н. Гиппиус, но, к сожалению, они далеки от жизни, не умеют кипеть ею. По их собственным словам: «Мы — книжные, мы — тряпки», они обречены на бездействие, за недостатком энергии существования, столь избыточной в Юруле.

Наконец, в романе выведены представители «общественников» — обоего пола «революционеры». Эти заняты тем, что терзаются всякими терзаниями и присматриваются к Юруле и троебратчикам. Что Юруля стоит на каком-то верном пути, хотя и не у последней цели, — это чувствуют наиболее одаренные среди «революционеров» повести. Где пределы правды, воплощенной в лице (формуле) Юрули, они не знают еще, но чувствуют, что эта правда в нем есть. Так же присматриваются они и к троебратству; тоже не знают, где предел правды, воплощенной в них, но тоже чувствуют, что и у них есть своя новая индивидуалистическо-мистическая правда («да будет воля Твоя и моя»).

III

Читателю остается самому сделать то, около чего ходят общественники г-жи Гиппиус, но чего они все-таки не сделали в романе.

Нужен синтез. Ясно, что путь идет к будущему с его особыми предчувствуемо-гармоничными и свободными людьми. Они будут гармоничны, красочны и ярки в использовании жизни: так же, как Юруля. Они будут свободны и независимы ни от кого и ни от чего, ни от каких догм и велений, — совершенно так же, как Юруля. От этого выиграют все и каждый, ибо всем будет уютнее, когда будет улыбаться каждый в отдельности. И от этого индивидуалистического разлива всеобщего счастья не пострадают ни в чем интересы «общности», человечества, ибо «особи»

* Так я хочу, так я приказываю (*лат.*).

подчиняются очарованиям истины, и человечество найдет регулятор в мистике («да будут едино воля Твоя и моя!»)

Да будет так! Но если будет не совсем так? Рассказывают, что в старом Петербурге, на Адмиралтейской площади, где в то время устраивались масленичные увеселения, один остроумный человек построил балаган-музей с вывеской, обещавшей посетителям лицемерие монстра — детища, происшедшего от щуки и утки. Люди входили, но их огорчали сообщением, что чудовище заболело. Поэтому взамен чудовища посетителям предлагали посмотреть на его родителей и на самом деле показывали щуку в бадье и утку в корзине. Не оказывается ли читатель «Чертовой куклы» в положении посетителя именно этого анекдотического музея? Он прочел повесть, вместе с «общественниками» г-жи Гиппиус приглядывался к Юруле и троебратству, ожидая откровений и сочетаний абсолютной неморальной свободы духа с дерзновением мистического свойства. А ему показали только «родителей» этого предчувственного чуда: щуку — Юрулю и утку — троебратство!

Впрочем, есть и существенная разница. Посетителю анекдотического музея показывали в качестве родителей подлинную, действительно существовавшую щуку и живую утку. Автор же в качестве «родителей» предложил вниманию читателя насквозь сочиненных людей.

Впрочем, «Чертова кукла» не конец отражений настоящего и предчувственного. Об «очарованиях истины» г-жа Гиппиус обещает дать специальный роман, составляющий продолжение «Чертовой куклы». В новом романе новый Юруля будет одет в другие, «гораздо более соблазнительные» одежды и при этом, по словам автора, столкнется с зерном подлинного и совершенного бытия, которое уже вырастает ныне из стихии революции (предисловие к «Чертовой кукле»).

Автор обещает, что ее новый Юруля будет еще более соблазнителен! Но ведь и Юруля из «Чертовой куклы» очаровывает все сословия и возрасты, за исключением мистиков! Неужели в новом романе и эти твердые — с троебратством в основе — дрогнут перед Юрулей, «одетым в еще более соблазнительные одежды»? Думаем, однако, что до этого не допустят ни З. Гиппиус, ни Антон Крайний.

Даже в обещании автора есть что-то успокоительное.

